

Окончание.
Начало в "PM" №4175.

Ирина Муравьева

Тайна Маяковского

И не в том дело, что она понимала или не понимала усложненную структуру его стиха — понимала же она раннего, тяжело усложненного Пастернака, понимала потом, когда появился синий томик в "Библиотеке поэта", совсем не расхожого Мандельштама, — дело в том, что Маяковского она боялась. Вернее, она перестала бояться его только потому, что он был мертв, но отвращение страха осталось. Осталась ранка на том месте, где у простого человека по отношению к поэту проступает — любовь.

Моей бабушке — у которой брат прошел через приговор к расстрелу в восемнадцатом (и она — совсем молоденькая — выкупила его из ЧК материнским бриллиантовым кольцом), потерявшей родителей, которые умерли от голода и холода в подвале собственного дома, куда их в одночасье выселило то же ЧК, соскребающей с немногих уцелевших от сервиза золоченых тарелок жуткие слова "За веру, царя и отечество" — как было не бояться чутунного громила, прорывавшего:

Не тешишь,
товарищ,
мирными днями.
сдавай
добродушие
в брак.
Товарищ,
помните:
между нами
орудует
классовый враг.

Та самая буквальность, с которой она воспринимала русскую литературу и пропускала ее через себя, как солнечный свет, как запах земли и леса, продолжала присутствовать и в том случае, когда вместо света предлагалась тьма, а вместо словесного запаха кислый и тошный запах крови.

Она не восприняла приход Маяковского как явление той или иной культуры, она восприняла его — наверное, так же, как покойный Карабчиевский, — как приход антихриста, приход в мир еще одного из бесовской гвардии, от которого надо было спасать родных и откупаться.

Думаю, что ни один поэт не опускался так низко, чтобы с именем его связывалась не литература как таковая, а страх прямого физического уничтожения.

Да я его не чувствую совсем! — отговаривалась она и махала рукой, когда я из школы притаскивала в дом Маяковского или начинала звонко заучивать под грохот грузовиков на Плющихе:

Тебе, поэт,
тебе, певун,
какое дело
до ГПУ?

Бабушке моей — ее чудом спасшемуся брату, ее мертвым родителям, ее жавшимся по арбатским коммуналкам Августам и Анькам, моему деду — было дело до ГПУ, потому что ГПУ было дело до них.

То, что поэт шагнул с высоты пророков и певунов прямо в исполненное "кровавых костей колесо", убило его как человека-поэта и поставило в длинный ряд бесовских кожаных курток.

Есть твердолобые
вокруг
и внутри —
зорче
и в оба,
чекист, смотри!

Поколение, раненное страхом, не могло воспринять Маяковского иначе. И если говорить о его вине перед людьми, то она ведь не в том, что он воспел кровавую диктатуру, не в том, что он, нахлебавшись лжи и демагогии, стал — как дельфин — фонтанами выпускать из себя ложь и демагогию, а в том, что на земле, где люди в страхе просыпались по ночам, он стал еще одним — мощным и беспощадным проводником этого страха.

"Было, — пишет умища Карабчиевский — много талантливых людей, воспринявших идею как благо, но все они против собствен-

ного желания изменяли ей в своем творчестве. Таковы уж свойства живой души, она не может ужиться с мертвой догмой, и чем больше человек талантлив, тем больше проявляется противоречие. Бабель, Заболоцкий, Багрицкий, Платонов, Зощенко... Можно продолжить. Пастернак тоже бы хотел, как Маяковский, и время от времени пробовал. Выходило ходульно и неестественно, он выдавал себя в каждой строфе. Слишком много в нем было живой отдельной души, слишком много было Пастернака.

В Маяковском же Маяковского не было, вот и вся страшная тайна".

Вчера мои студенты спросили, был ли женат Маяковский. Я ответила, что нет, не был, и сказала пару слов про семейство Бриков. И тут же вспомнила эпизод из собственной жизни, почти размытый памятью.

Март семьдесят третьего года. Пушкинский музей на Кропоткинской. Не Музей изобразительных искусств, а маленький мемориальный музей Пушкина в одном из московских особняков. Моя работа после пяти лет филфака представляет собой нечто среднее между горничной и научным сотрудником. Платят как горничной, сижу над бумажками до шести часов вечера ежедневно — как научный сотрудник. От горничной, правда, еще одна маленькая деталь: в мои обязанности входит подавать чай с конфетами нашим музейным гостям. Ну, например, Журавлев читает у нас "Пиковую даму". Наизусть. После того Журавлева поят чаем в круглой комнате за сценой. Чай у нас из электрического самовара, конфеты "Белочка". К чаю и "Белочке" моя начальница Анна Соломоновна добавляет пирог собственного производства с подгорелой корочкой. Сидим чаевничаем. Анна Соломоновна, Журавлев (или Непомнящий, или Кутепов, или дочка Шалаяпина Ирина, или еще кто!) и я. Подгорелая корочка оставляет на зубах черные крошки. Разговоры самые замечательные, потому что мы — то есть музей — считаемся центром московской культуры. У нас играет Ростропович, а иногда даже Рихтер, у нас толкуются в подвале, где архивы, нарумяненные старухи из "бывших", у нас прекрасная библиотека на нескольких языках, и, наконец, у нас директор Крейн, который сам по себе большая музейная редкость.

Мы что-то вроде пушкинского лица с его духом неистребимого вольнодумства посреди аракчеевско-брежневского болота. Кто из интересных людей ни появится в златоглавой, его сейчас же к нам. На пирог и вольный разговор. Поначалу я восхищалась, потом приуныла. Зарплата — семьдесят рублей без надежды на повышение, в день по три экскурсии (то цирковое училище придет, то солдатская рота, то девятиклассники из Пензы), а главное — телефон без конца, и я — как самая молодая — сижу и отвечаю.

Интересно, что в ту зиму в большом Пушкинском музее на Волхонке (от нашего особняка два шага, и многие путали!) выставили гробницу Тутанхамона со всеми ее сокровищами, и в любознательной Москве началось просто ужас что. У меня ухо болело от звонков, рука немела.

"Девушка! — молодой мужской голос. — Милая! Покойника египетского у вас показывают?"
Стараюсь не хамить, отвечаю и кладу трубку.

Через минуту — женский, придуренный:

"Девушка! У меня двое детей и третьего мы с мужем ждем. Нельзя ли нам попасть на выставку без очереди?"

Ну и так далее. К часу дня я становилась зеленой от усталости и бегала к электрическому самовару

запивать кислый пирамидон кипяченой водой.

И вдруг — событие. Вызывает нас с Анной Соломоновной директор Крейн к себе в кабинет. Входим. Он сидит под портретом кудрявого грустного Пушкина — сам грустный и встревоженный, словно только что похоронил Амалию Ризнич и сжег по ошибке не ту главу "Онегина".

"Анна Соломоновна, — говорит директор и пристально смотрит

"Все свежее, Лиля Юрьевна, только что принесли..."

"Благодарю, я не ем в это время суток".

Крейн что-то спрашивает ее о Маяковском. Она отвечает — снисходительно, как ребенку. Анна Соломоновна задает бестактный вопрос, о том, кому посвящены строчки: "Уже второй, должно быть, ты легла". Она смотрит на Аллу Соломоновну, прищурившись, словно вспоминает, словно видит нам не доступное:

"Мне. Все стихотворения его о любви обращены ко мне".

Она замолкает, помешивает чай в стакане. Крейн растерянно спрашивает, какая сейчас погода в Париже.

"Тепло, — медленно говорит она. — Уже цветет много. Поэтому я так накуталась. С непривычки".

К сожалению, я совершенно не запомнила, коснулся ли разговор чего-то существенного или нет. Помню, что в самом конце она подарила какую-то книжку с дарственной надписью музею. Крейн с Анной Соломоновной долго восхищались и благодарили. Потом меня послали на стоянку подогнать такси, потому что по телефону не дозвониться.

Когда я через пятнадцать минут подъехала на такси, она стояла на крыльце нашего сливочного особняка и натягивала длинные перчатки на свой малиновый маникюр.

Я подумала, что она могла бы сыграть пиковую даму. Крейн поцеловал ее руку в перчатке. Две наши сотрудницы — милые интеллигентные женщины — замахали вслед отъезжавшему такси. Анна Соломоновна куда-то исчезла еще раньше. Мы с Крейном вместе поднялись по широкой лестнице, и тут он сказал мне: "Да, они стояли друг друга". Потер выпуклый лоб и спросил строго: "Вы, я надеюсь, не перепутали, сказали шоферу, куда ехать?"

Больше я никогда не видела Лили Брик и уже в эмиграции узнала о ее самоубийстве. Наверное,



В.Маяковский. Портрет Л.Брик. 1916.

при этом на мой лоб, — завтра у нас будет ответственный день. Приедет Лиля Юрьевна Брик. Так что давайте не ударим..."

Понятно, что не ударим — лицом в грязь. Анна Соломоновна вспыхивает и бормочет что-то насчет заказа, в котором не было ничего, кроме свежееосвеженного кролика и двух банок стуженки. Крейн устало прикрывает глаза голубоватыми веками.

"Кролика не нужно, она не ест мяса. Пусть Ирина Лазаревна (это я, мне двадцать один год!) сходит в "Прагу" и, ну, возьмет там... Что вы думаете? Ну, закуска, да? И торт, если свежий".

Под колючим снежком — пальто нараспашку (хоть погулять-то, Господи!) — бегу в "Прагу". Выстаиваю очередь, покупаю полную сумку на казенные деньги. Масло селедочное. Анна Соломоновна велела попробовать, не горчит ли. А то отравим, не дай Бог, Лиле Юрьевне. Владимир Владимирович нам не простит. Пробую языком прямо из серой шершавой бумаги. Не горчит.

В круглой комнате за сценой — дым коромыслом. Анна Соломоновна, похожая на состарившуюся Юдифь без головы Олоферна, лично перетирает чайные стаканы. Гости придут после двенадцати. На видное место кладем томик Маяковского. Мне надо проводить очередную экскурсию, и я ухожу. Возвращаюсь через час с небольшим.

За чайным столом, на котором в музейных блюдечках лежит мое селедочное масло и прочие закуски, сидит взволнованный директор в очень белой рубашке, Анна Соломоновна с разгоревшимися щеками и развевшимися прядями и странная женщина в какой-то темно-зеленой шубе, брошенной на плечи. Крейн нервно придвигает мне стул, не глядя на меня и не прерывая разговора. Женщина помешивает ложечкой чай в стакане. Я обращаю внимание на ее малиновый маникюр нечеловеческой длины. Пальцы в кольцах. Гладко причесанная голова, лицо — под густым гримом, на шее — чтобы не видно было ее возраста — прозрачный, белый с черным, шарф.

Анна Соломоновна нервничает и певуче утешает.

М.Ларионов. Портрет Маяковского. Париж, 1922.



Крейн был прав — они стояли друг друга.

И вот вчера я на скорую руку готовила занятие по Маяковскому. Сложность задачи была в том, что мои американские студенты ничего о Маяковском не знают. Никогда не слышали этой фамилии. Нет, вру: одна девочка родом из Черновиц слышала, что он писал детские стихи, и эти стихи были смешными. Так что передо мной было свободное пространство, вольная воля.

И на какую-то долю секунды я растерялась. Я почувствовала себя перед выбором. Вытащить его или ...? Объяснить ли им, что он был талантливым (очень!), что он был бунтарем и ходил в оранжевой кофте, потому что ненавидел сытых и жалел бедных ("Я — где боль — везде..."), что он — по молодости-глупости принял кровавую революцию и пошел служить ей из лучших романтических побуждений, а когда разобрался в ее кровавости, когда повзрослел, то ужаснулся и пустил себе пулю в лоб? А к этому добавить трогательную историю несчастной любви с действительно прекрасными любовными стихами?

Я не произнесла ничего такого. Но ничего произвольного в моем решении не было. Я просто не могла иначе, хотя эта версия прозвучала бы красивее и для студентов оказалась бы намного проще. В ней не было истины, вот беда. Более того: предложи я ее для простоты картины и украшения нашей утомительно-резкой неромантической жизни, я бы подыграла тому "бесовству", частью которого был талантливый поэт Маяковский.

Бостон

85